



ПЕРЕКРЕСТЬЯ
РУССКОЙ
МЫСЛИ

андрей
ТЕСЛЯ

Андрей Александрович Тесля, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, кандидат философских наук.

В серии «**Перекрестья русской мысли**» делается попытка сдвинуть **ключевых персонажей интеллектуальной жизни** России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и **создать наиболее точную и объемную картину эпохи.**

петр
ЧААДАЕВ

Его ожидания великого будущего предполагали **имперское видение, универсальная монархия** тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на **народ, не имеющий ничего частного** — и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее.

сборник
Философические
письма,
адресованные даме

Перекрестья русской мысли

Петр Чаадаев

**Философические письма,
адресованные даме (сборник)**

«РИПОЛ Классик»

1828-1854

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Чаадаев П. Я.

Философические письма, адресованные даме (сборник) /
П. Я. Чаадаев — «РИПОЛ Классик», 1828-1854 — (Перекрестья
русской мысли)

ISBN 978-5-386-09822-3

Современный читатель и сейчас может слышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители о судьбах России и ее историческом пути. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка создать точную и объемную картину интеллектуальной жизни России XIX века. Петр Яковлевич Чаадаев – колоссальная фигура эпохи, человек, оказывавший огромное влияние на своих современников и по сей день стоящий особняком в картине общественной мысли России. Данный сборник включает себя все главные тексты Чаадаева: «Философические письма», «Апологию сумасшедшего» и избранные письма.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-386-09822-3

© Чаадаев П. Я., 1828-1854
© РИПОЛ Классик, 1828-1854

Содержание

Андрей Тесля	6
Московский старожил	6
Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»	14
Реакция на «Философические письма»: до и после публикации	17
Принцип Чаадаева	20
П.Я. Чаадаев	31
Философические письма	31
Письмо первое	31
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Петр Яковлевич Чаадаев, Андрей Тесля
А.А.Тесля: Философические
письма, адресованные даме**

© Тесля А.А., составление, вступительная статья, дополнительные материалы, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Андрей Тесля Неизменность Чаадаева¹

Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.
М.О. Гершензон, 1908 г.

Московский старожил

Когда 14 апреля 1856 г. во флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:

Скончался «один из московских старожил, известный во всех кружках столицы».

Затруднение редактора в подборе слов для определения покойного не сложно понять – Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших; даже литератором его назвать было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.

Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях: он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно – сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, – основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.

Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном к европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:

«[...] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим

¹ Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)». Данная статья является существенно расширенным вариантом одноименной статьи, опубликованной: Социологическое обозрение. – 2016, Т. 15, № 3.

наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. [...] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой „лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы“. Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»².

Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, – то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М.И. Жихаревым, первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником сведений для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.

Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований: они не были заблуждением, но в то же время рисовали облик совсем иного лица, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли – исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря или вопреки тому, что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было еще более примечательным: Чаадаев сам не перешел в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.

Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться»³. До этого времени о нем знали не очень много – после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.

Петр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребенком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урожденной княжны Щербатовой, – так что

Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской»⁴, приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее, впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяли на себя тетушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.

По словам М.И. Жихарева, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни, тетушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года⁵, вес-

² Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений: Б 30 т. Т. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.

³ Герцен А.И. Былое и думы: Части 4–5 / Коммент. Г.Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.

⁴ А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.

⁵ Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.

ною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни переправлялась через две разлившиеся реки – Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата»⁶. Тетушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея – была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала последнему:

«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами»⁷.

Состояние досталось им от родителей более чем достаточное – около одного миллиона рублей на двоих, воспитание они получали сперва домашнее, а затем в 1808 г. поступили в Московский университет, где их сотоварищами сделались А.С. Грибоедов, Д.А. Облеухов, братья Л. и В. Перовские, И.М. Снегирев, Н.И. Тургенев, И. Д. Якушкин.

Для того времени и той среды дружба значила очень много – отношения, обретенные в юности, продолжались всю жизнь⁸. Так, после приговора по делу декабристов, по которому Якушкин за умысел на цареубийство был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, Чаадаев навещает его семью, как и брат Михаил, и затем, по мере того как сыновья Якушкина, Вячеслав (1823) и Евгений (1826) подрастали, охотно принимал их на Басманной, а уже после смерти Чаадаева Евгений Якушкин собирал материалы о нем, сожалея, что не успел записать устные воспоминания Петра Яковлевича, опубликовал в «Библиографических записках» (1861, № 1) ряд его писем и способствовал изысканиям о Чаадаеве М.Н. Лонгинова, близкого к нему библиографа и библиофила⁹.

На исходе весны 1812 г. он вместе с братом зачислен подпрапорщиком в гвардию, в Семёновский полк, проходит кампанию 1812 г., а затем заграничный поход русской армии 1813–1814 гг., снискав дружбу сослуживцев и уважение старших. По окончании походов и возвращении из Франции переводится (теперь уже один, без брата, продолжившего службу в Семёновском) в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе, – там, в императорской резиденции, он часто бывает в доме Н.М. Карамзина, где в июне или июле 1816 г. знакомится с А.С. Пушкиным¹⁰.

⁶ Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И.А. Федосова; вступ. ст. Н.И. Цимбаева. – М.: Изд-во МТУ, 1989. С. 51.

⁷ Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное: В 4 т. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит, коммент. Е.Ю. Литвин, В.Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.

⁸ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 58, 66.

⁹ См.: Равич А.М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. С. 61–70.

¹⁰ Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№ 71, 117, 119) «Материалов для [...] биографии» Пушкина, составленных П.И. Бартевым [см. переиздание: Бартев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А.М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С.П. Шевыреву: «Бы, конечно, заметили, что описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев П.Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. / Отв. ред. З.А.

Карьера Чаадаева идет успешно – на исходе 1817 г. он получает назначение адъютантом к гр. И.В. Васильчикову, одному из самых близких к императору Александру I лиц – и с общей точки зрения может рассчитывать на быстрое дальнейшее повышение, будучи лицом известным и ценным высшими чинами империи. Но его собственные планы лежат в иной области – брат уже ранней весной 1820 г. выходит в отставку и поселяется в Москве, а сам Чаадаев подает прошение об отставке на исходе декабря того же года и получает ее в феврале 1821 г. Столь неожиданный при свете внешних обстоятельств поступок обрастает массой слухов и предположений – Ф.Ф. Вигель расскажет, что отставка выйдет из недовольствия государя на опоздание Чаадаева с известием о восстании в Семеновском полку:

«[...] гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холил, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнением и оттого с прибытием опоздал двумя сутками»¹¹.

Ту же историю в сокращенном виде повторяют, например, хороший московский знакомый Чаадаева более поздних лет, М.А. Дмитриев¹² и знавший Чаадаева большую часть его жизни Д.Н. Свербеев¹³. История эта, однако, прямо противоречит достоверно известным фактам, и предложить свою версию происшедшего попытался уже М.И. Жихарев, вынужденный, впрочем, строить лишь гипотезы, поскольку сам Чаадаев всегда отказывался говорить об этом. Согласно Жихареву, Чаадаев поддался тщеславному чувству, отправившись с донесением, однако затем был вынужден осознать, что является вестником и одним из орудий кары, которая должна постигнуть его бывших сослуживцев по Семеновскому полку – получить ближайшее почетное назначение, флигель-адъютантство, значило бы получить награду за предательство. Оказавшись в тупике, Чаадаев по размышлению и избрал отставку, оставляющую его совесть и, что гораздо важнее, его честь чистыми¹⁴. Но и эта трактовка была оспорена с большим набором аргументов М.О. Гершензоном, отметившим, что происшедшее никак не повлияло на репутацию Чаадаева среди друзей и знакомых, сослуживцев по Семеновскому полку и по гвардии в целом – никак не отозвавшись в переписке, никогда не упоминаясь: никто не думал ставить ему в вину¹⁵ поездку с официальным донесением от его начальника, гр. Васильчикова к государю. Еще одну версию предложил сравнительно недавно Ю.М. Лотман, полагавший, что Чаадаев в своем поступке ориентировался на литературный образец – маркиза Позу, отставка была обращена именно к государю как адресату, демонстрируя бескорыстие, и тем самым давая право высказывать свое суждение и вес высказываемому¹⁶.

Вопреки столь изощренной версии, как последняя, видимо, стоит согласиться с М.О. Гершензоном, искавшим истоки решения в религиозном кризисе, переживаемом Чаадаевым. Об отставке он начинает писать гораздо раньше событий в Семеновском полку – извещая брата, что прошение его удовлетворено, он говорит:

«Итак, ты свободен, весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного: возможно скорее оказаться в том же положении. Если бы

Каменский. – М.: Наука, 1991 – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]

¹¹ Вигель Ф.Ф. Записки: Б 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.

¹² Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой и Т.Ф. Нешумовой; вступ. ст. К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.

¹³ Свербеев Д.Н. Мои записки / Изд. подгот. М.Б. Батищев, Т.Б. Медведева; отв. ред. С.О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.

¹⁴ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 71–80.

¹⁵ См.: Гершензон М.О. Указ. соч. С. 389–391.

¹⁶ См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПб., 1994. С. 346–352.

я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее – но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим» (II, 10–11, письмо от 25 марта 1820 г.).

А тетушке, извещая о том, что отставка подана (но еще не принята), Чаадаев пишет, рассказав об обоснованности слухов о предстоящем ему флигель-адъютантстве:

«Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают. В сущности, я должен вам признаться, что я в восторге от того, что уклонился от их благодеяний, ибо надо вам сказать, что нет на свете ничего более глупо высокомерного, чем этот Васильчиков, и то, что я сделал, является настоящей шуткой, которую я с ним сыграл. Вы знаете, что во мне слишком много истинного честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым уважением, которое она доставляет. [...] Я предпочитаю позабавиться лицемерием досады высокомерной глупости» (II, 14–15, письмо от 2 января 1821 г.).

Как бы то ни было, в феврале 1821 г. отставка была получена, и следующие два с небольшим года Чаадаев проводит отчасти в Москве, отчасти в деревне, чтобы летом 1823 г. отправиться в заграничное путешествие. Первоначально он должен был ехать в Любек, чтобы принимать морские ванны вблизи Гамбурга, но приехав в Кронштадт, взглянув на совершенно не понравившийся ему немецкий корабль и наблюдая рядом другой, английский, готовящийся к отплытию в Лондон, передумал – «не мог утерпеть и решил ехать на нем. [...] Позабыл было, ты, – обращался он к брату, – верно, спросишь, что же ванны морские? – да разве в Англии нет моря?» (II, 20, письмо от 5 июля 1823 г.). По письмам этих лет трудно догадаться, что его тревожит и не дает покоя – он с трудом поддерживает переписку, задерживаясь с самым срочным ответом на полтора месяца, перевозит за собой уже написанное письмо из Лондона в Париж, чтобы наконец собраться с силами и отправить его на родину, но будучи образцом благовоспитанности и приличий, ничуть не обременяет своих корреспондентов содержанием переживаний, обычно выдерживая легкий тон. Хотя «дневник Чаадаева», обширно цитируемый Гершензоном, оказался не принадлежащим ему¹⁷, да и склонности к индивидуальной мистике Чаадаев нигде не демонстрирует (его религиозность, если позволительно так выразиться, носит исключительно интеллектуальный характер), но перемена в нем происходит разительная за десятилетие, прошедшее между отставкой и возвращением в московское общество. Пропутешествовав три года, посетив, помимо Англии, Францию, Швейцарию и Италию, где вместе с Н.И. Тургеневым осматривал Рим, побывав на Карлсбадских водах, где познакомился с Ф.В.Й. Шеллингом, и затем надолго задержавшись – по собственной болезни и по душевной болезни брата Н.И. Тургенева, Сергея, которому стал заботливой сиделкой до приезда его родных, – Чаадаев возвращается в Россию (вынужденный в Брест-Литовске давать показания по делу о причастности к декабристскому мятежу) и в сентябре 1826 г. оказывается в Москве, где, в частности, присутствует на чтении Пушкиным «Бориса Годунова», но уже в следующем месяце уезжает в подмосковное имение своей тетки. Затворником он проживет ближайшие несколько лет, общаясь с очень небольшим кругом, соседским, преимущественно женским: в эти годы в него влюбится (безответно – как и все прочие равнодушные к нему дамы) Авдотья Сергеевна Норова (1799–1833)¹⁸, рядом с которой он велит себя похоронить в Донском

¹⁷ См.: Шаховской Д.И., кн. Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. Т. II. – Шаховскому удалось доказать ошибку Гершензона, последовавшего за М.И. Жихаревым, обнаружившим дневник в бумагах, оставшихся от Чаадаева, – в действительности дневник принадлежит многолетнему его другу, товарищу по Московскому университету Д.А. Облеухову, скончавшемуся в 1827 г.

¹⁸ Сестра Александра и Абрама Норовых – последний в дальнейшем, с 1853 по 1858 г., будет занимать пост министра

монастыре¹⁹ (I, 573), познакомится с Екатериной Дмитриевной Пановой (1804 – после 1858). Последняя встреча и завязавшаяся переписка послужит возникновению цикла «Философических писем...». Отвечая на ее письмо, Чаадаев приступит к изложению своих уже давно обдумываемых идей: работа увлечет его, письмо адресату вряд ли вообще будет отправлено, но найденная форма окажется идеально соответствующей тому, что и как хотел сказать Чаадаев.

Эти годы он живет в Москве – деревенская жизнь совсем не пришлась ему по духу, но практически не выходит и нигде не появляется. Одно из немногочисленных свидетельств этого времени принадлежит жене И. Д. Якушкина, не следовавшей за ним в Сибирь, а оставшейся с двумя малыши детьми в Москве, писавшей мужу 24 октября 1827 г.:

«Пьер Чаадаев провел у нас целый вечер. Мне кажется, что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным и, подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости. [...] Пьер Чаадаев сказал мне, что я говорю только глупости, что слово счастье должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он изволил мне сказать, но вполне вежливо. Под конец он согласился, что это могло бы быть правдой. Он обещал мне принести главу из Монтеня, единственного, кого можно, по его словам, читать с интересом. Но если бы ты его видел, ты нашел бы его весьма странным. Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет след за Мольером: „О великий человек“ а я говорю потихоньку „Бедный человек“» (П, 305–306).

Московский хроникер С.П. Жихарев писал А.И. Тургеневу почти два года спустя, 6 июля 1829 г.:

«[Чаадаев] Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви»²⁰.

Когда он вновь выйдет в московское общество в 1831 г.²¹, его старый знакомый А.И. Тургенев найдет его чрезвычайно изменившимся:

«Был я у Петра Яковлевича. Нашел его весьма изменившимся: постарел, похудел, и почти весь оплешивел. [...] Сначала я ничего не заметил, что бы могло оправдать мнение тех, кои полагают его слишком задумчивым; но после я увидел, что одна мысль, религиозная – о коей он и пишет – слишком исключительно занимает его, и что он почитает себя слишком больным и

народного просвещения.

¹⁹ Предоставляя, впрочем, душеприказчику выбор – другим вариантом было быть похороненным рядом с Екатериной Гавриловной Левашовой (ум. 1839), в доме которой на Новой Басманной Чаадаев в 1833 г. снимет флигель, из которого не переедет и после продажи дома семейством Левашовых.

²⁰ Жихарев С.П. Записки современника: Б 2 т. Т. II. – М., Л., 1934. С. 428.

²¹ Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется „ни в короб, ни из короба“, предписал ему „развлечение“, а на жалобы: „Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?“ – отвечал тем, что лично свез его в московский Английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным [...], своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжен не врача просто, а настоящего друга» [Жихарев М.И. Указ. соч. С. 85].

слабым, хотя, впрочем, точно он на вид очень похудел» (II, 307, письмо к Н.И. Тургеневу от 2 июля 1831 г.).

С того времени, как Чаадаев вернулся в общество, жизнь его потекла без особых перемен вплоть до кончины – двадцать пять лет он был постоянным участником московских споров, салонных разговоров, язвительным комментатором происходящего. Потрясение, вызванное реакцией на публикацию «Философического письма...», вскоре прошло:

«Когда [...] его история окончилась и он опять воротился в свет, его приняли и с ним обошлись так, как будто бы с ним ничего не случилось. Сначала в продолжение двух, трех, много четырех годов от него отчасти сторонились, мало, впрочем, заметное число более или менее официальных, или, быть может, более или менее трусливых людей, да несколько видных тузов обоего пола, недовольных и разгневанных его мнениями, которых они, однако же, подробно и в ясной точности никогда не знали. С прошествием времени и это явление совершенно исчезло. Тузы не замедлили разобратся по кладбищам, официальные люди перестали дичиться, а к робким возвратилась бодрость»²².

Д.Н. Свербеев вспоминал: «С 1827 по 1856-й г. Чаадаев безвыездно прожил в Москве и около 25 лет на одной квартире²³ в Новой Басманной, в доме почетного гражданина Шульца, принадлежавшем прежде близкому ему семейству Левашовых. Живя на одном месте, он до того сделался рабом своих комфортабельных привычек, что все эти 30 лет ни разу не мог решиться провести ночь вне города, хотя многие из его родных и друзей радушно и настойчиво приглашали его в свои подмосковные, придумывая всевозможные удобства для такой легкой поездки и желая доставить хозяину дома возможность перекрасить на его квартире полы и стены и поправить к осени печи. Ему и самому очень хотелось освежиться деревенским воздухом, но привычка брала над ним верх»²⁴. Все эти годы он потихонечку разорялся, точнее, был уже фактически разорен, не столько из-за излишеств, сколько по неспособности разумно распорядиться деньгами. Брат его продолжал выплачивать ему «проценты» с несуществующего капитала, а он делал все новые долги и винил брата, насчитывая на нем воображаемые долги. Дела его в последние пару лет могли бы обернуться совсем печально – но здесь он умер:

«Тогда говорили и говорили чрезвычайно верно, что он во всю свою жизнь все делал отменно ловко и кончил тем, что отменно ловко умер»²⁵.

Бумаги свои он передал Михаилу Ивановичу Жихареву – «племеннику», а в действительности довольно дальнему его родственнику, с которым он чрезвычайно сблизился в последние полтора десятилетия. Избранный им наследник вполне оправдал надежды завещателя, по крайней мере он сделал все, что было в его силах, опубликовав у о. Ивана Гагарина избранные сочинения Чаадаева, пытаясь издать перевод «Апологии...» в «Современнике» (за подготовку рукописи брался Н.Г. Чернышевский, но публикация не состоялась), написал в 1865 г. биографию – остающуюся ценнейшим источником сведений, поскольку многие из них основываются на устном предании и разговорах с Чаадаевым²⁶:

«Жихарев трогательно заботился о сохранении в русском обществе памяти о Чаадаеве, например, рассылал знакомым и незнакомым людям,

²² Жихарев М.И. Указ. соч. С. 107.

²³ С 1833 г.

²⁴ Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 528.

²⁵ Жихарев М.И. Указ. соч. С. 80.

²⁶ Опубликовано: Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. – 1871, № 7, 9. – Полный текст впервые опубликован в издании: Жихарев Д.И. Указ. соч. С. 48–118.

знавшим мыслителя, фотографические снимки с картины К. Бодри, где изображен чаадаевский кабинет в Москве»²⁷ – это доходило иногда до комизма, так, И.С. Тургенев писал брату Николаю в 1869: «Посылка г-на Жихарева (которого я, впрочем, не знаю) состоит в фотографии чаадаевского кабинета: мне уж доставили 8 таковых фотографий, и я начинаю думать, что это мистификация»²⁸. А 8 июля 1872 г. М.И. Жихарев писал издателю и редактору «Вестника Европы» М.И. Стасюлевичу, в котором за предыдущий год ему удалось издать целую серию материалов Чаадаева и о Чаадаеве: «Чувствуя живейшее желание, чтобы хозяин журнала, в котором Александром Николаевичем Пыпиным так много сделано для памяти покойного Чаадаева, имел у сего в его воспоминание какую-нибудь безделицу из его вещей, позволяю себе вместе с этим к вам препроводить одно из его кресел, его портрет с собственноручной подписью и подсвечник, им когда-то купленный в Лондоне, бывший у него в постоянном употреблении и без которого его одного у себя в комнате в ночное время себе вообразить невозможно. Позвольте вас убедительно просить эти вещи принять благосклонно» (I, 756–757), на что уже Стасюлевич писал Пыпину: «Сию минуту получил от нашего милого чудака М.И. Жихарева письмо с тремя вещами Чаадаева: портрет, подсвечник и кресло. Посылаю вам львиную долю для кабинета» (1,757).

Впрочем, как видно и из биографии, написанной Жихаревым, его любовь не была слепой – он восхищался Чаадаевым, но умел отнестись к недостаткам и слабостям его как к тому, что не умаляет его достоинств – и быть проницательным судьей его текстов. Так, в письме к А.Н. Пыпину от 20 января 1871 г. он отмечает:

«[...] вся совокупность сочинений Чаадаева носит на себе некоторый характер однообразия, весьма изысканный и понятный, но от того не меньше довольно огорчительный и до некоторой степени ведущий к скуке и утомлению. И странное дело, в то бесконечное количество раз при жизни Чаадаева, когда с ним вместе разговаривали об всей целостности его деятельности, ни ему, ни мне эта ее черта ни разу не приходила в голову. И поразила она меня только годов семь после его конца, когда по издании „Oeuvres Choiesies“ я стал окончательно и усиленно заниматься приведением в порядок последних бумаг» (I, 714).

Мы же, со своей стороны, полагаем, что это впечатление – результат особенностей мыслей Чаадаева, о своеобразии которых и пойдет речь далее.

²⁷ Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.

²⁸ Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.

Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»

Расхожим является утверждение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды. От этого реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной – его карали за взгляды, которых он уже не разделял, за утверждения, от которых он во многом успел отказаться.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным: за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 гг. разным адресатам, его суждений, нашедших отражение в печати (хотя Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться „Апологии“»). Конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России»²⁹, но сказанное Чаадаевым в «Апологии... «если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться – представить иную аранжировку ранее высказанных идей.

И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства, а именно – настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.

Почти сразу же по выходу из уединения и возвращении к жизни московских гостиных Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему распространению. В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев³⁰ рассказывал:

«Я читал некоторые из этих писем (*и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время?* [выд. нами. – А.Т.] и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания»³¹.

М.П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весной 1830 года»³².

В 1831 г. Чаадаев передает рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург – с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф.М. Беллизара³³:

«Вероятно, – пишет М.И. Гиллельсон, – по приезде [...] Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева³⁴), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать [...]»³⁵.

²⁹ Мандельштам О.Э. (1971 [1915]) Петр Чаадаев // Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Проза. Изд. 2-е, пересмотр, и доп. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, вступ. ст. Б.А. Филиппова. – Париж: Международное литературное содружество. С. 288.

³⁰ Чаадаев скончался 14 апреля 1856 г., а предвещающее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А.Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 г. [текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: *Свербеев Д.Н.* Указ. соч. С. 843–844].

³¹ *Свербеев Д.Н.* Указ. соч. С. 523.

³² *Гершензон М.О.* Указ. соч. С. 440.

³³ *Пушкин А.С.* Письма. Т. III. 1831–1833 / Под ред. и с прим. Л.Б. Модзалевского. – М., Л.: Academia, 1935. С. 334.

³⁴ 23 августа 1831 г. В.А. Жуковский писал А.И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т. е. Пушкин. – А.Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» [Жуковский В.А. Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу. – М., 1895. С. 258]. Вопреки мнению М.И. Гиллельсона, полагавшего, что Чаадаев получил оригинал своей рукописи в августе 1831 г. [*Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1986. С. 172], и В.В. Сапова, предположившего (на основании письма

В ноябре 1832 г. Чаадаев вновь попытается издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А.И. Семена (*там же*), тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А.П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру, однако последнего он не смог сделать, отвечая:

«[...] первые страницы, где показывается неосновательность Протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога, и пользовавшегося необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги» (II, 527, письмо от 1 февраля 1833 г.)³⁶.

Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П.А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале:

«Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 г.).

Так он и поступит в 1836 г. – как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М.К. Лемке, «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда „Московскому Наблюдателю“ где они не появляются» (*Лемке*, 1909: 402) и, как веско отмечал М.О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (*Гершензон*, 2000 [1908]: 441). В 1834 г. Чаадаев в письме к кн. П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:

«Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 г.).

До 1988 г. считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден под влиянием постигших его неудач пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 г. попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А.И. Тургеневу (II, 93–94), однако последний ответил отказом, не рискнув «взять на себя ответственность за подобную публикацию» (*Вацуро, Гиллельсон*, 1986: 172, со ссылкой

А.И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 г., из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 г. – еще в январе 1832 г. Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А.П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 г., в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» [Переписка В. А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1853 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиликовой. – М.: Знак, 2009. С. 376].

³⁵ Вацуро Б.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 172.

³⁶ Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 г. см.: II, 536–538.

на письмо А.И. Тургенева к П.Я. Чаадаеву от 22 августа/3 сентября 1835 г.³⁷). Но после публикации Б.Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу³⁸, появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказывался – публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представлял идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:

«Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не исказить текст» (И, 89, письмо к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1834 г.).

В письме к Пушкину от 17 июля 1831 г., побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы: «Постарайтесь [...], прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие» (11,67).

³⁷ Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном [Гершензон М.О. Указ. соч. С. 441] с более поздней датировкой, 1836 г. – уточнение датировки см.: Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М.[О.] Гершензона. – М.: Путь, 1914. С. 196.

³⁸ Тарасов Б.Н. «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о П.Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. – 1988, № 2; републ.: Чаадаев П.Я. Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Б.Н. Тарасова. – 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1989. С. 389; II, 101–102.

Реакция на «Философические письма»: до и после публикации

Кн. П.А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья, как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже):

«Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приглубить его и ухаживаем за ним.

Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном»³⁹.

К этому письму А.И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву, – рукопись его вызвала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение⁴⁰. В чем сходились и Пушкин, и А.И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так это в стремлении отделить «христианство» от конфессии⁴¹. Пушкин пишет, начав, разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»:

«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской»⁴².

Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину:

«Поставь на место католицизма – христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной.

На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, *в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию* [выд. нами. – А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он – *выслушивает и другую сторону*: т. е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказа-

³⁹ *Переписка* А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст. И.Б. Мушиной; сост. и коммент. В.Э. Вацуру и др. – М.: Художественная литература, 1982. С. 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 г. Ср. схожий отзыв из письма А.И. Тургенева к брату Николаю, от 2 июля 1831 г.: Чаадаев «давал мне прочесть одну тетрадь, и я нашел много хорошего и для других нового, хотя, впрочем, я и не разделяю мнений его» (II, 308).

⁴⁰ Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева с 1826 г. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 г. А.И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).

⁴¹ В последующем Чаадаев подробно выскажется по этому поводу, полемизируя с И.Б. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слышали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церковь, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не почитает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т. е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непререкаемой правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной, *эта несознательность мысли, эта невнятность христианского понятия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством* [выд. нами. — А.Т.]» (I, 547–548).

⁴² *Переписка* А.С. Пушкина. Т. 2. С. 275.

тельства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны»⁴³.

Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь – для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается⁴⁴. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

М.А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н.Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал:

«Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. [...] Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно»⁴⁵.

Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 г., – следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой – разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С.С. Уварова, обвинив того в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескопе*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. *Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин* [выд. нами. – А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостью воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. [...] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против *Истории Государства Российского* и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из

⁴³ Там же. Т. I. С. 74, письмо от 15 июля 1831 г.

⁴⁴ О философии религии П.Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века. – М.: Изд-во ПСТГХ 2013. С. 37–41.

⁴⁵ Дмитриев М.А. Указ. соч. С. 366, 367.

соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву»⁴⁶.

В 1875 г. Вяземский вновь изменил свои взгляды (или, по меньшей мере, публичное суждение) о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и на особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Телескопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 г. (I, 580–581):

«Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на Французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде Московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (*directeur de conscience*). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой оболечение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана»⁴⁷.

Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 г. вернуться на службу, пишет:

«Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубом капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева»⁴⁸.

Однако Вяземский уже в 1831 г. произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» – см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 г., цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего – обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X. 1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 г.:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного [...]»⁴⁹ (*Лемке, 1909: 413*).

⁴⁶ Вяземский П.А., *кн.* (1879). Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. II. 1827–1851 г. Издание гр. С.Д. Шереметьева. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. С. 221, 222.

⁴⁷ Там же. С. 214.

⁴⁸ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 439.

⁴⁹ Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. Изд. 2-е. – СПб.: Издание С.В. Бунина, 1909. С. 413. Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 г. писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» [цит. по: Вацуро Б.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 167].

Принцип Чаадаева

И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы – от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции, – и оскорбление, которое в 1848 г. попытался нанести Чаадаеву П.В. Долгоруков, рассылая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию⁵⁰ – все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».

Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него „систему“. У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат *христианской философии истории*. История есть для него создание в мире *Царствия Божия*. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю»⁵¹. Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (II, 69, письмо от 18 сентября 1831 г.).

Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

«Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово *честь* долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а *слово чести* по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши. [...] Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господен, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. [...] Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено»⁵².

В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева – что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом... «или личное знакомство с Чаадаевым в Москве»⁵³, – однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаадаева, он демонстрирует незнакомство с его текстами и повествует, опираясь лишь на «устную

⁵⁰ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 114–115, 371.

⁵¹ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 4-е изд. / Предисл. прот. И. Мейендорфа. – Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 248.

⁵² Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – СПб.: Крига, 2008. С. 75.

⁵³ На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым [...] не поддается удовлетворительному решению» [Мильчина Б.А., Осповат А.А. Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». – СПб.: Крига, 2008. С. 961, стр.: 905].

легенду о Чаадаеве»⁵⁴. На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника»⁵⁵. Биограф кн. Козловского, Г.П. Струве, центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России»⁵⁶. У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации – так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 г. из Рима передает известие о своей встрече с князем:

«Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что Русский народ никакого характера не имеет»⁵⁷.

Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева – то, что в первую очередь занимало публику оказывалось привлекающим внимание не в силу «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны *публичной речи*, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского „религиозного западничества“ характерного для времени Александра I»⁵⁸. И тем не менее различие принципиально:

«Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривали в этих высказываниях [князя Козловского. – А.Т.] сходство с тем, как виделась Россия в философии Чаадаева. [...] Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело – личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое – идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории»⁵⁹.

Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки – они общие у него с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколений (помимо кн. Козловского можно вспомнить, например, уже упомянутого выше кн. Ивана Гагарина, племянника С.П. Свечиной, с которой Чаадаев был также хорошо знаком и регулярно упоминал о ней в письмах к А.И. Тургеневу, интересуясь новостями о ее парижском салоне, постоянным посетителем которого был его корреспондент) – сколько, принимая их как данность, адекватное описание реальности⁶⁰, стремится понять, почему эта реальность такова.

Там, где другие дают практический ответ – принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или по меньшей мере на столь долгий срок, как это окажется возможно – Чаадаев дает ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.

⁵⁴ Мильчина В.А., Осоват А.А. Указ. соч. С. 961.

⁵⁵ Там же. С. 767.

⁵⁶ Струве Г.П. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. С. 39–46.

⁵⁷ Цит. по: Струве Г.П. Указ. соч. С. 40.

⁵⁸ Башицкий А. Россия, католичество и польский вопрос / Пер. с польск., послесл. Е.С. Твердисловой. – М.: Изд-во МГУ, 2012. С. 54, прим. 1 к стр. 53.

⁵⁹ Там же. С. 37, 38.

⁶⁰ Д.Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 г., во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу [...] и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» [Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 377].

Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен: Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» а 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого семейства имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого. Россия, напротив, не входит в это целое, являясь лишь фактом:

«Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Если угодно, перед нами тавтология – Россия не имеет истории потому что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может – частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо», I, 434–440). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не становится историей:

«Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. [...] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).

Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов:

(1) прошлое и настоящее России исключительно – она исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330);

(2) при этом исключительность эта – целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских;

(3) но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом – и смысл этот провиденциальный;

(4) следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «[...] мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330);

(5) прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325) – этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев

отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека»⁶¹ (I, 330);

(б) разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева: предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов – попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «Христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так, и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей – «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.

Из этого вытекает, что именно сама «пустота» – прошлая и настоящая – должна быть осмыслена положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо – но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего – либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.

Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную:

«Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).

⁶¹ Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движения декабристов», у Чаадаева не двоится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся неотправленным письме к И.Д. Якушкину от 2 мая 1836 г. он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его бессосновности, данную в первом «Философическом письме...»: «Ах, Друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было. Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).

Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл – и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой – в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не (только) внешнему зрителю, но и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту – то это значит, раз история еще не началась для России, что ей суждено начаться.

«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но *универсальное* содержание – любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным, его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств – любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить – и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились:

«Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

Но это же отсутствие «своего», преходящесть любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая – оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами...», но и в них же самих – разница в интонации. Если в «Философических письмах...» это приглушено – на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, пронизывающей все: от частной жизни до общего порядка существования во времени⁶², который и объясняет беспорядок первой, то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф.В.Й. Шеллингу в 1832 г. Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников:

«бедное настоящим, но богатое будущим [...], великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).

В письме к Николаю I от 1 июля 1833 г. он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с тою на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо *Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше, имеющем принципиальную значимость, письме Чаадаева к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1835 г., в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярной переписки дает название предназначенному им к опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:

«Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелюбезны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем

⁶² Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным только поговорив «сначала еще немного о нашей стране», добавляя: «при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).

из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).

А.И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 г.: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (11,92).

Между «Философическими письмами...» и последующими текстами нет водораздела – не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 гг. и напечатано в 1836 г. Например, в письме к И.Д. Якушкину, предположительно датированном 1838 г., но, возможно, относящемся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:

«Кто-то сказал, что *„нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада“*. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенно не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте, и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может стать, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что

мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками, и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).

Вопреки расхожим представлениям⁶³; исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается; а начинает расти после 1835 г. – «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки»⁶⁴; а; напротив; последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х гг. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии... «на том же представлении о России как о не имеющей прошлого – и именно потому способной иметь будущее:

«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа* и *Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли то; что он сделал; было возможно лишь среди нации; чье прошлое не указывало ей властно того пути по которому она должна была идти; чьи традиции были бессильны создать ей будущее; чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя; звавшего нас к новой жизни то это; очевидно; потому что в нашем прошлом не было ничего; что могло бы оправдать сопротивление» (I; 527; ср.: I; 501; фр. 204).

Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться – его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу что опиралась на народ, не имеющий ничего частного – и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета – Папы и императора Александра I⁶⁵, память которого он чтит до самой смерти⁶⁶. В письме к А.И. Тургеневу, приходящемся на осень 1835 г., Чаадаев замечает:

«И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что *ее дело в мире есть политика рода человеческого* [выд. нами. – А.Т.]; что Император Александр прекрасно понял это, и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что *если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 96).

⁶³ См., напр.: *Балицкий А.* Указ. соч. С. 53.

⁶⁴ Вопреки, напр., мнению: Карпович М.М. (2012) Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века) / Пер. с англ. А.И. Кырлежева; Е.Ю. Моховой; вступ. ст. Н.Г.О. Перейры; предисл. С.М. Карповича; примеч. П.А. Трибунского. – М.: Русский путь; 2012. С. 97.

⁶⁵ А.И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 г., увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер [атором] Александром и Папою» (II, 307).

⁶⁶ См., напр., письмо к А.Я. Булгакову от 25 июля 1853 г. (II, 266).

Именно в 1835 г., с того времени, как доктрина «народности» провозглашается в качестве официальной и одновременно появляются и распространяются разные ранние изводы националистических доктрин, Чаадаев все более мрачно смотрит на происходящее и на перспективы России с точки зрения своей историософии. Отзываясь на триумфальную постановку «Скопина-Шуйского» Кукольника в письме к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 г., он быстро переходит от возмущения по поводу драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:

«В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в области понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. [...] если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).

М.Ф. Орлову Чаадаев писал уже в 1837 г., после «философической истории»: «Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей. – А.Т.] кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтобы бро-

суть их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений [выд. нами. – А.Т.]»

Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое» (II, 125–126).

Тем не менее и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли – привычно язвя, например, о защите диссертации Ю.Ф. Самарина (II, 168–171, письмо к А.И. Тургеневу от июня 1845 г.) или в письме к де Сиркуру от 1854 г. о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях:

«[...] все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути» (II, 269),

а о скандальной грубости и «простоте нравов» семейства московского генерал-губернатора (с 1848 по 1859 г.) А.А. Закревского⁶⁷ отзывался так:

«Вы знаете, что старый либерализм предыдущего царствования – бессмысленная аномалия в стране, благоговейно преданной своим государям [...], искоренен у нас, слава богу, уже давно; но, к несчастью, кое-что осталось в приемах и в языке людей, которые составляют то, что называют „хорошим обществом“. И вот, в настоящих условиях, даже это могло представлять некоторое неудобство в глазах дальновидного администратора. Итак, салоны нового генерал-губернатора, еще недавно место встреч избранного общества, вскоре лишились своих прежних завсегдатаев и наполнились новым обществом, столь же чуждым прежнему, сколько послушным благоразумным требованиям текущего дня. С этой поры там не стали знать другой свободы языка, как та, которую несет с собой нежная легкость нравов, лишенных всякой чопорной стыдливости, любезное наследство эпохи, знаменитой в современной истории Франции. Не могу передать вам все то благо, которое извлекают наши молодые люди из нового режима, который установился в доме градоначальника. В настоящее время нет ничего опаснее, как оставлять молодые умы под властью этих вкусов, слишком прилежных к учению, где бесплодная работа мысли питается всякого рода предметами воображения, и вот любезное гостеприимство семьи нашего генерал-губернатора предложило очаровательное лекарство против этого зла. Веселая фамильярность матери семейства, пленительные манеры дочери произвели настоящий переворот в пользу правого дела в привычках нашей молодежи» (II, 270–271).

Отношение к славянофильству со стороны Чаадаева претерпело изменение во второй половине 1840-х гг., когда он убедился, что националистический поворот не кратковременное

⁶⁷ См., напр., характеристику: *Чичерин Б.Н.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 191–192, 203.

увлечение – тогда он попытался встроить его в свое историческое видение, сообщая парижскому корреспонденту:

«Национальная реакция продолжается по-прежнему. Если ей случается иногда слишком увлечься своими собственными созданиями, принять на себя повадку власти, возомнить себя важной барыней, то не следует за это на нее слишком сердиться. Это черта всех реакций: влюбляться в самое себя, верить слишком слепо в свою правоту, впадать во всякого рода высокомерие, в особенности, когда эти реакции не встречают на своем пути серьезного противодействия, а вы знаете, что противодействие на этой почве в нашей стране почти немислимо. *Идея туземная, т. е. идея исключительно таковая, торжествует, потому что в глубине этой идеи есть правда и добро* [выд. нами. – А.Т.], потому что она, естественно, должна восторжествовать вслед за тем продолжительным подчинением идеям иностранным, из которого мы выходим. *Настанет день, конечно, когда новое сочетание мировых идей с идеями местными положит конец ее торжеству, а до тех пор нужно терпеть ее успехи и даже злоупотребления, которые она при этом допускает* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 185, письмо к А. де Сиркуру от 26 апреля 1846 г.).

В годы Крымской войны он вновь вернется к своей однозначно негативной оценке националистических учений, именуя их (в первую очередь славянофильство) «ретроспективными утопиями» (*utopies retrospectives*, I, 565⁶⁸) и ставя им в вину сами катастрофические события 1853–1856 гг.:

Правительство «не поощряло их, я знаю; иногда даже оно на удачу давало грубый пинок ногой наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма⁶⁹; тем не менее, оно было убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму» (I, 571–572)⁷⁰.

⁶⁸ Ср.: Чаадаев П.Я. Неопубликованная статья / Предисл. и коммент. [кн.] Д.[И.] Шаховского // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л.Б. Камнева и А.Б. Луначарского. – М., Л.: Academia, 1934. – С. 365–390. Данный оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. (II, 145) – в письме к Б.А. Жуковскому от 27 мая 1851 г., написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К.С. Аксакова (II, 254).

⁶⁹ Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 г. Ф.Б. Чицова, арест в 1849 г. Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 г. 2-го тома «Московского Сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксаковых и др. [См.: Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. – М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве, 2007. С. 172–173; Московский сборник / Изд. подгот. Б.Н. Греков. – СПб.: Наука, 2014. С. 860–863, 917–920, 1048–1051.]

⁷⁰ Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К.Н. Леонтьева – «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ – такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице

Единственная принципиальная корректива, внесенная Чаадаевым в свою историософию в последние десятилетия, – это оценка православия. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль: теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое призвание» (I, 500) или, как он ранее, в 1845 г., писал де Сиркуру: «Наша [...] церковь по существу – церковь аскетическая, как ваша по существу – социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете. Это – два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» (II, 174) – но в этой поздней интерпретации не трудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена, допустить его напрасность – значило бы утверждать отсутствие смысла в течении времени, а в осмысленности прошлого Чаадаев никогда не сомневался – собственно, из столкновения этой веры в смысл и зримой бессмыслицы, как ему казалось наряду с целым рядом других «религиозных западников» Александровской эпохи и родилась его историософская идея.

В заключение отметим, что сам Чаадаев неоднократно подчеркивал, что «окончил все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (II, 67, письмо к А. С. Пушкину от 17 июня 1831 г.) – тексты, написанные им в последующие двадцать пять лет, корректируют, уточняют сказанное ранее, служат откликом на меняющуюся ситуацию, но не меняют главного, напротив, позволяют его лучше осознать – как неизменный центр посреди множества самых изменчивых суждений.

Андрей Тесля

динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились игу его закона, точно также и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, № 42-а).

П.Я. Чаадаев Философические письма, адресованные даме (сборник)

Философические письма (1829–1830)

Письмо первое

Adveniat regnum tuum
[Да придет Царствие Твое (Мф. 6:10)]

Сударыня!

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более ценю в вас. Судите же, как должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить с вами о религии. Все вокруг вас могло заставить меня только молчать. Посудите же, еще раз, каково было мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот все, что я могу сказать вам по поводу мнения, которое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем характере. Но не будем больше говорить об этом и перейдем не медля к серьезной части вашего письма.

Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она – печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которые должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызения совести. И однако, должен ли я этому удивляться? Это – естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утех своего господина.

Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества, отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То немного, что я позволил себе сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и естественно должны были привести вас в смятение. И не будь я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состоять все же лучше полной летаргии, мне оставалось бы только раскаяться в моем рвении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное на вас несколькими незначительными словами, служит мне верным залогом тех еще более важных последствий, которые, без сомнения, повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.

Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием, что учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: *Отче святой, соблюди их, да будет едино, якоже и мы*⁷¹, и не стремится к водворению царства Божия на земле. Из этого однако не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.

Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство – это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер, – именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, – верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отдаваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.

Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению и делам религии? Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности. Но эти картины – не создавая фантазии; от вас одной зависит осуществить любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это – старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем

⁷¹ Ин. XVII, 11.

истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесения его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, – говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатии или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, – не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бездельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это – эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это – необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пле-

нительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его преданиях. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, – вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждения и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это – хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль, но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов, и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна, и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода, каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекание века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются все неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, т. е. по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание – в их внешнем быте, вся их душа – вне их; именно таковы мы.

Народы – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в

состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян, все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства; без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знания и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком; в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это – идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это – больше, нежели история, больше, чем психология, это – физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развившихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто искусственным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума, и вносившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это – беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предвидении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуве-

ренное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражаюсь этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи, и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам, стоящим сверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы – кельты, скандинавы, германцы – имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов, среди них встречаются люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас: где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим – в Германию, мы должны были бы соединять в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок – и совмещать в нашей цивилизации истории всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того, оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не при-
мыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир,

не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованно, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она – ключ к пониманию народов.

Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца⁷² эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделали жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго, и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы, – все это нас совершенно миновало. В то время как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созрел.

⁷² Фотия.

Спрашиваю вас: не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явственное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую Церковь, включенного в Символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать – и действительно способствует – установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что Он пребудет в Церкви своей до скончания века. Тогда новый строй – царство Божие, – который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя, – от царства зла, – который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, – пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.

Однако, скажете вы, разве мы не христиане и разве немислима иная цивилизация, кроме европейской? Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы думаете, что небо сведет на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?

В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человеческой жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, т. е. какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству.

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, т. е. где идея, которую Бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно обуславливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, как и у всех неевропейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия разума.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.